## Слово есть дело

# Сергей Снегов

Кто-то нудно плакал надо мной молодым жалким голоском. Плач начался вчера вечером — наверно, сразу как привезли из суда — и продолжался уже ровно двадцать часов; было по-человечески удивительно, откуда берется столько влаги на слезы. Чужое рыдание выводило меня из себя. Я метался по узкой каморке в Пугачевской башенке Бутырской тюрьмы и, задирая лицо в потолок, ругался, кричал и требовал перестать— нельзя же так по-бабьему распускаться! И мне нелегко, и я после суда, тоже выслушал чудовищно несправедливый приговор, ложь на лжи, а не суд, но ведь держусь же... Перестань, будь ты проклят, своим плачем ты сводишь с ума! Но парень, рыдавший в камере надо мной, не слышал ни моих просьб, ни проклятий. Он слышал только свое рыдание, он выплакивал свое горе — чужое горе, которое он усиливал своими слезами, до него не доходило, как громко я ни старался орать, что и у меня тоже несчастье — десять лет объявленного мне ни за что ни про что тюремного заключения.

— Лучше уж умереть, чем так надрывать горло, — сказал я себе в отчаянии. — И точно, почему бы не умереть, жизни больше не будет! Десять лет мне не вынести! А и вынес бы, так незачем.

Эта мысль — покончить расчеты с жизнью — явилась мне уже в тот момент, когда я закричал на своих судей: «Вы лжецы, ваш приговор — ложь, ложь, ложь!» — и рванулся к ним, а два бойца охраны завернули мне руки за спину и придавили голову к коленям, а потом вытащили из судейской камеры в коридор и еще долго волокли по бесконечному лефортовскому коридору, пока не бросили в одиночку — тут можешь разоряться, сколько хватит дурного голоса! Но там я уже не орал и не проклинал судей, а метался на койке и в бешенстве кусал подушку, чтобы дать какой-то выход душившему меня отчаянию. Вот тогда и появилась мысль, а не прервать ли так неудачно скривившуюся жизнь? Натянуть нос злобной судьбе— и полный расчет! Но в камере все было привинчено и туго закреплено — никакого способа самоумертвиться, да и времени не стало — вызвали, посадили в машину багровой окраски, грузовую, закрытую, с камуфлирующей — чтобы не смущать москвичей на улицах — надписью на боку «Мясо» и воротили в Бутырку, но не в старую камеру, а сюда, в одну из комнаток знаменитой Пугачевской башни — в ней, по слухам, сидел сам Пугачев. И под непрерывный плач верхнего соседа я с ожесточенной деловитостью стал выяснять в новой камере, годится ли она для окончательного решения жизненной проблемы. Камера была маленькая, на три койки, с высоким потолком, с окошком, защищенным наружным щитком-«намордником». Я подпрыгнул на койке, уцепился за решетку окна, прутья держали хорошо — каждый вполне годился послужить за классический «висельный крюк». Но веревки не было, простыни тоже отсутствовали, а из трухлявых одеял надежного жгута не скрутить, это понималось сразу. И тут я увидел длинное вафельное полотенце, брошенное на отведенную мне койку. Ощупав полотенце по всей длине я понял, что судьба наконец улыбнулась мне, правда, издевательски-злобной ухмылкой. Если ночью разорвать полотенце надвое, то из двух половинок можно скрутить прочный и длинный жгут, хватит завязать двойным узлом на решетке и смастерить просторную петлю, чтобы в нее пролезла голова, Я проверил, как полотенце обхватывает шею, оно обхватывало с избытком, на планируемую петлю можно было положиться. Теперь оставалось подвести мысленно итоги существования. Я забегал по камере, торопливо вызванивая в мозгу, под аккомпанемент чужого рыдания с потолка, нечто вроде поэтического завещания — прощальные стихи. Минут через десять я уже вслух перебивал мрачным и решительным пятистопным ямбом чужое рыдание:

Как бабочка на пламенные свечи,

Летит неудержимо и нелепо

И, обгорев, почти без крыл, навстречу

Огню последнему вновь рвется слепо, —

Так я, измученный и непокорный,

Раздавленный судей-лжецов делами,

Кружусь в бесчувствии вкруг мысли черной,

Бросаясь в эту мысль как в пламя!

Закончив стих, я присел на койку. Меня затуманила безмерная усталость. Покончить с жизнью было, конечно, неплохо. Но ужасало, что для этого нужны энергичные действия — рвать на половинки крепкое полотенце, крутить жгут, лезть к оконной решетке, прилаживать к шее петлю... Смерть перестала привлекать меня. Я с ней как бы рассчитался прощальными стихами. Смертно тянуло спать Я закрыл глаза и повалился головой на подушку.

Меня пробудил скрип двери. В камеру вошел мужчина с вещевым мешком в руках. Он остановился посередине камеры и хмуро уставился на меня. Он был среднего роста, средних лет, очень худ, очень темнокож лицом, с очень — до болезненного впечатления — запавшими глазами. Цвета их в яме глазниц ни тогда, ни после я разглядеть не мог, они, вероятно, не отличались цветом от кожи лица. Я глухо спросил: Вы кто?

— Дебрев, — ответил он и поправился: — Это фамилия — Дебрев. А вообще я арестант, как и вы, и осужден по той же статье, как ваша, и, не сомневаюсь, на тот же срок.

Он кинул мешок с вещами на свободную койку и присел. Я сказал:

— Меня осудили на десять лет тюрьмы, с последующим поражением в правах на пять лет. Осудили неправильно, несправедливо, весь приговор — клевета! Я так и крикнул моим судьям, что они лжецы.

— А они что?

— Скрылись в соседней комнате, а меня скрутила охрана.

— Естественно. В ярости еще могли кинуться на них, случаи бывали. Какому судье охота попадать под кулак осужденного? Правда, вы не из геркулесов, но все же... Кто вас судил?

— Главный судья — Никитченко, заседатели Горячих и Дмитриев.

— Серьезный народ. Военная коллегия Верховного суда СССР. Статья 58, пункты 8 через 17, да еще 10 и 11. Верно?

— Верно. А почему вы меня спрашиваете о статьях?

— О чем же нам еще разговаривать в камере? Закона от 1 декабря 1934 года не применили? Впрочем, раз вы тут, значит, нет.

В обвинительном заключении был закон от 1 декабря, а в приговоре не упоминалось.

— Пощадили вас. По молодости, очевидно. Вам сколько?

Он вдруг впал в раздражение:

— Не стройте из себя младенца! В двадцать шесть лет пора покончить с детской наивностью! Закон от первого декабря тридцать четвертого года принят после убийства Кирова и предусматривает только одно наказание — смертную казнь. Если бы он оставался в вашем приговоре, ваш прах уже везли бы в крематорий.

Землистое лицо Дебрева сердито дергалось. Мне показалось, что он беспричинно возненавидел меня. Я сказал сколько мог спокойней:

— Вы, очевидно, хорошо разбираетесь в уголовном кодексе?

— И не только в уголовном, — буркнул он. — Я по старой профессии — юрист. Правда, уже давно на партработе... А с вашими судьями когда-то приятельствовал. Что, впрочем, мне не помогло, скорей — наоборот.

Мы с минуту помолчали. Заключенный наверху рыдал на той же надрывной ноте. Я попросил:

— Если вы юрист, то расскажите, что означают мои статьи. Мне объяснили, но не уверен, что правильно понял.

Он оживился:

— Надо понимать, надо! Теперь эти пункты пятьдесят восьмой статьи будут сопровождать вас всю дальнейшую жизнь, станут важнейшей вехой вашей биографии. Итак, пункт восьмой — террор. Но добавленный к нему пункт семнадцатый устанавливает, что лично вы ни пистолета, ни ножа, ни тем более бомбы в руки не брали, а только сочувствовали террористам, были, стало быть, их идейным соучастником, когда они готовили покушения на наших испытанных вождей...

— Не было этого! — крикнул я. — Никогда не было.

— Надо было судей убеждать в своей непричастности к террору, а не меня. Продолжаю. Пункт десятый гласит, что вы болтун и высказывали антисоветские мнения другим людям, а о наличии таких ваших слушателей категорически свидетельствует пункт одиннадцатый, утверждающий, что организация трепачей в количестве не менее двух человек вела рискованные разговоры, в смысле — занималась антисоветской агитацией. И один из этих трепачей были вы. Теперь ясно? Хороший это пункт — десятый в пятьдесят восьмой статье. За любое сомнительное словечко в любой болтовне — тюрьма, вот его смысл. А для крепости, чтоб не выбрались скоро на волю, еще пункт восьмой навесили — тяжкая гиря на шею.

— Вы издеваетесь надо мной, Дебрев.

— Не издеваюсь, а разъясняю реальное положение, — холодно отпарировал он. — Уж доложил вам, судьи ваши — народ серьезный и ответственный, знаю это по личному знакомству с ними. Уж если припечатают, так надолго... Не всем сносить такую печать... Вы, правда, по-современному, почти юноша. Хватит жизни и после заработанной десятки...

Я в ярости заметался по камере.

— Никакой десятки, слышите, Дебрев! Завтра напишу заявление и потребую немедленного пересмотра приговора. Меня освободят, вот увидите!

Он невесело покачал головой.

— Юноша, утешаете себя несбыточными мечтаниями. Заявление от вас примут только в том случае, если вы докажете, что вовсе не тот человек, которого судили, и фамилия ваша другая, и потому не хотите принимать незаслуженно чужой кары. Лишь в этом единственном случае вам дадут бумагу на заявление.

Я воротился на свою койку и, подавленный, некоторое время молчал. Дебрев показал рукой на потолок.

— И давно он?

— Когда меня привели сюда, он уже надрывался Почти сутки без перерыва.

Дебрев вслух размышлял:

— По голосу — молод. Ваших лет. Может, года на два-три постарше. Хорошо, что слезами дал выход душе, молчаливая ярость может подтолкнуть на неразумные поступки.

— Неразумные? — переспросил я горько. — Вообще имеется разум во всем, что совершается тюрьмах? Безумие, массовое безумие, всеобщее политическое умопомешательство!..

— А вот этого говорить не надо. Не думайте, что у власти нет кары похуже десяти лет заключения. Говорю еще раз — вас пощадили, сняв закон от 1 декабря, а будете твердить насчет политического умопомешательства... В общем, держите себя в руках. И с незнакомыми не откровенничайте, а я ведь вам незнаком. Мы еще помолчали. Парень наверху сделал передых в плаче. Но, помолчав минут пять, снова ударился в слезы. Дебрев с тоской сказал:

— Господи, до чего тошно! Хоть бы скорей на этап. Юноша, расскажите о себе — кто, что, откуда и почему?

— Почему бы вам не рассказать о своей жизни? Вы больше прожили, ваша биография интересней.

Он хмуро усмехнулся:

— Сложней, а не интересней. Запутанная, неровная, полная неожиданностей... Столько неоправданных поступков, столько неразумного. В общем, типичная жизнь людей моего круга и моего поколения... Вам не все понять, у вас иная жизненная дорога — и проще, и справедливей. Говорите, я слушаю.

Я не был уверен, что моя жизнь проще чьей-либо иной, а недостаток справедливости ощущал в ней и до того, как очутился в тюрьме. Но чтобы хоть как-то заполнить томительное время в камере, рассказал, что жил в Ленинграде, работал инженером на приборо-строительном заводе, летом прошлого года внезапно арестовали, несколько дней просидел в ленинградской тюрьме, потом привезли в Москву. Шесть месяцев на Лубянке допытывались, не говорил ли я чего плохого о вождях партии и правительства и не являюсь ли членом антисоветской молодежной группы в составе трех человек, и в ней я — руководитель. Потом — четыре месяца в Бутырке без единого допроса, потом неделя в Лефортово, потом суд, а после суда снова, в Бутырки. Было свидание с женой после окончания следствия. Жена сказала, что дело мое направлено в суд, но суд не принял его за недоказанностью преступления — возможно, переследствие, но всего вероятней, скоро выпустят на волю. Новых допросов не было, я ожидал освобождения. Но что-то вдруг переменилось. Суд снова затребовал отклоненное дело и там, где в конце прошлого года не находил вины, вину внезапно обнаружил — лживую, неправдоподобную, недоказанную — и покарал за эту выдуманную вину, за несуществующее преступление самым тяжким наказанием, какое можно придумать...

— Все же не самым тяжким, закон от 1 декабря к вам не применили. А почему сегодня нашли вину там, где вчера ее не видели, могу объяснить. Произошло важное событие, о котором вы еще не знаете, В феврале и марте состоялся пленум Центрального Комитета, Сталин докладывал о троцкистских двурушниках... И такие постановления!.. Все, что было до сих пор, все эти исключения из партии, проработки, осуждения, публичные покаяния, отмежевания... В общем, нынешний, 1937 год станет особенным в нашей истории, принимаются по-серьезному, самым жестоким способом за тех, кого понадобилось убирать... Железной метлой, ежовыми рукавицами, вилами и топором... Радуйтесь, юноша, говорю вам, радуйтесь, что отвели закон от 1 декабря! Ибо раз уж нашли вину там, где ее вчера не видели, то могли...

Он прервал свое желчное объяснение. Загремели засовы, отворилась дверь, в камеру ввели нового человека. Он был высок, толст, стар, передвигался прихрамывая — остановился у дверей, схватился рукой за сердце, тяжело задышал.

— Ты? — потрясение спросил Дебрев. — Тебя — сюда?

— Я вас не знаю, Дебрев, — придушенным голосом ответил новый заключенный. — Отныне и на всю остальную жизнь мы незнакомы. Не смейте говорить со мной, не смейте глядеть на меня! Я вам приказываю, слышите!

Новый заключенный тяжело опустился на свободную последнюю койку, бросил мешочек с вещами на пол, закрыл глаза — мерно покачивался всем туловищем, как бы в ритм неслышным мне звукам либо медленно бредущим мыслям. Я переводил взгляд с него на Дебрева. Дебрев при появлении нового арестанта вначале отшатнулся, потом весь сжался, теперь с ногами сидел на койке, прижимаясь спиной к железной спинке — поза, которую и ребенок долго не выдержит, — и не отрывал тусклых глаз в глубоких глазницах от согнувшегося нового соседа. Пожилой арестант внушал Дебреву ужас, это понимал даже я. И я ожидал драматического продолжения, когда оба соседа прервут затянувшееся молчание. У них, по всему, были свои вещие счеты — я даже догадывался какие.

Пожилой арестант, не раскрывая глаз, сказал:

— Молодой человек, сколько вам дали? Десять с последующим поражением в правах?

— Да, десять с поражением, — сказал я.

— Не предупреждали, когда на этап?

— Не предупреждали.

— Да, сейчас не предупреждают — берут и выводят. Берегут слова, слова стали дороги, а дела подешевели, делами не экономят. Давно, давно предвидели: слово станет плотью. Только думали, что слово воплощенное явится благодатью и истиной, а оно обернулось хвостатым страхом, двурогим ужасом, багровым призраком гибели...

— Не понимаю вас, — сказал я. Мне казалось, новый арестант не в своем уме.

Он поднял голову, резко повернулся ко мне, распахнул веки. Я и вообразить не мог, что так бывает: на морщинистом, старчески-сером лице светили очень яркие, очень голубые, очень живые глаза. Они разительно не совпадали со всем обликом этого пожилого человека. Он засмеялся так странно, словно не он, а я говорил что-то совсем уж несообразное. В отличие от молодых глаз голос у него отвечал облику — старчески-тусклый.

— Не понимаете, верно, — подтвердил он. — И не один вы. Миллионы людей растерялись и запутались. Ибо произошла самая неожиданная, самая невероятная революция в нашей стране — не классовая, не промышленная, а философская. В самом материалистическом государстве мира воспрянул и победил идеализм.

Он остановился, ожидал возражений. Дебрев не менял своей напряженной позы. Пожилой арестант продолжал:

— Да, торжество философии идеализма, иначе не определить. Мы в молодости учили: бытие определяет сознание, экономика порождает политику. И вообще — производственный базис, производственные отношения, право, идеология... И где-то там, на самом верху, на острие пирамиды — слово, как зеркало реальной жизни. А слово вдруг стало сильней жизни, крепче экономики, оно не зеркало, а реальный властитель бытия — командует, решает, безмерно, яростно торжествует! Дикое царство слов, свирепая империя философского идеализма! Кто вы такой, молодой человек? Враг народа, так вас сформулировали. Всего два слова, а вся ваша жизнь отныне и навеки определена этими двумя словами — ваши поступки, ваши планы, ваши творческие возможности, даже любовь, даже семья. Троцкист, бухаринец, промпартиец, уклонист, вредитель, предельщик, кулак, подкулачник, двурушник, соглашатель... Боже мой, боже мой, всего десяток слове¬чек, крохотный набор ярлычков, а бытие огромного государства пронизано ими, как бетонный фундамент железной арматурой! Какое торжество слова, даже не слова — словечка! Мы боролись против философского идеализма, за грешную материю жизни, а нас сокрушил возродившийся идеализм — самая мерзкая форма идеализма, низменное, трусливое поклонение словечкам. Не упоение высоким словом, а власть слова лживого, тупого — куда нереальней того идеального, против которого мы, материалисты, восставали!

— Зачем вы мне это говорите? — спросил я.

— Да, зачем? — повторил он горько. — Впрочем, нет. Вы впервые судимы?

— Надеюсь, и в последний. А когда отменят несправедливый приговор, так стану опять несудимым.

— Дай вам бог! Только до этого не скоро. А пока вам предстоит этап в какую-нибудь далекую тюрьму, где будете отбывать заключение. Вы на этапах еще не бывали, а я их столько прошел! И сейчас с этапа — по доносу мерзавца, которого считал другом. Привезли, заклеймили новыми карающими словечками и опять увезут. Одно заключение сменят на другое. Так вот — этап. На многих командуют блатные. Вы для них «пятьдесят восьмая», «враг народа», а они считают себя друзьями народа — аристократия по сравнению с вами. И с радостью при случае поиздеваются над вами, облагораживают себя тем злом, которое вам причинят, — отомстили, мол, врагу народа за то, что он народу вредил. Бойтесь уголовников, молодой человек. Мой вам душевный совет: заявитесь в камеру, где уголовников много, сейчас же вещевой мешок на стол: половину — вам, половину — мне. Все же гарантия, что не изобьют и не прирежут. А теперь, простите, — спать. Трудный был день сегодня, завтра будет еще трудней.

Он повалился одетый на койку и почти сразу заснул. Дебрев осторожно опустил ноги на пол и принял нормальное сидячее положение. Арестант в верхней камере замолчал — вероятно, тоже заснул. Ни Дебрев, ни я не засыпали. Он сидел угрюмый, о чем-то молчаливо размышлял, а я думал о приговоре, о семье, оставленной на воле, о неведомой далекой тюрьме, где предстояло отбывать заключение. И еще я думал о всевластии слов, с такой горечью объявленной пожилым человеком, лежавшим на соседней койке. Я вспомнил, что Мопассан когда-то писал, будто вся человеческая история для него — это набор сменяющих одна другую хлестких фраз. «Я не мир к вам на землю принес, но меч», «Кто ударит тебя в левую щеку, подставь правую», «Пришел, увидел, победил», «Еще одна такая победа, и я потеряю все мое войско», «Мертвые сраму не имут», «Здесь я стою, я не могу иначе», «Если в этих книгах то, что в Коране, то они не нужны; а если то, чего в Коране нет, то они вредны», «Все погибло, государыня, кроме чести», «Париж стоит обедни», «Пусть гибнут люди, принципы остаются», «Государство — это я!»... Много, очень много фраз, ставших вехами истории, прав Мопассан. Но всевластие слова? Слово, из зеркала бытия ставшее организатором и командиром бытия? Не верю! Не могу, не должен поверить! Ибо страшно жить в мире, где жизнью командует слово, а не дело. Прав, тысячекратно прав Фауст, отвергнувший евангельское «Вначале было слово». Он сказал: «И вижу я — деяние в начале бытия». Да, именно так, деяние, а не слово! Слово как было, так и остается зеркалом совершившегося действия.

Понемногу от философских терзаний я обратился к ожидающей меня реальной действительности. Уже не первый этот пожилой сокамерник предупреждал меня об опасностях встреч с уголовниками. Другие расписывали их зверства даже конкретней и страшней. Я ничего не мог с собой поделать, я содрогался при мысли о встрече с ними. Нет, я боялся не их! Я боялся себя. Боялся, что унижу себя слабостью, опозорюсь пресмыкательством перед грубой силой. За шесть месяцев на Лубянке, четыре месяца в Бутырках я так много открыл лжи и трусости у самых, казалось, уважаемых людей, так часто и беспощадно узнавал, что деятели, испытавшие царские кнуты и тюрьмы, прошедшие с честью гражданскую войну, вдруг превращались в отвратительных слизняков, чуть на них замахивался кулак следователя-сопляка, что авансом потерял доверие и к себе. Вокруг меня все извивалось, клеветало, писало доносы, судорожно цеплялось за жизнь — откуда было мне взять уверенности, что и я в трудную минуту не окажусь таким же?

Нет, думал я, нет, в одном он прав: глупо вступать в борьбу с бандитами, если нет уверенности, что не струсишь и не покоришься их измывательству. Он советует откупиться и отстраниться от них. Тоже трусость, лишь маскирующаяся под благоразумие, но хоть избежишь издевательств над собой, хоть видимость достоинства сохранишь. В моем нынешнем положении и это благо.

В камеру вошел корпусной с двумя охранниками. Корпусной ткнул в мою сторону пальцем.

— С вещами на выход! Быстро!

Дебрев вскочил с койки и подошел к корпусному. Лицо его исказилось от волнения, голос дрожал:

— Прошу вас, переведите, меня в другую камеру. Я не могу здесь оставаться.

Корпусной, пропуская меня вперед, оглушил голосом, как дубиной:

— Где посадили, там и сидеть! Здесь тюрьма, а не гостиница!

Я снова сидел в крохотной кабинке красного фургона с надписью «Мясо» на бортах. В фургоне таких кабин было, наверное, с десяток — и каждая глухо отгорожена от других. Фургон мчался долго по ночным улицам Москвы — пересыльная тюрьма находилась, по всему, далеко от Бутырок. Потом дверка кабины раскрылась и охранник закричал:

— Скорей! Ноги в руки, живо!

Я пробежал по тюремному дворику, потом по длинному коридору. Другой охранник открыл дверь в новую камеру и, не дожидаясь, пока я пройду, с силой толкнул меня в нее — очевидно, надо было срочно разгружать фургон с арестантами и сделать это так, чтобы один арестант не увидел другого, — размещали по разным камерам.

Я споткнулся, мешок мой полетел на пол. Я ползал по заплеванным доскам, собирая свое рассыпавшееся нищее богатство, потом выпрямился и оглянулся. Камера была велика и плотно населена, но лишена порядка. Собственно, порядок в ней был, но тот, о котором еще Руссо говорил, что он проистекает из права сильнейшего. Левый угол камеры, добрую ее треть, занимали четыре человека, на остальной площади умещалось сорок. Один из четырех вонзил в меня крохотные, тусклые, как у свиньи, глаза и непререкаемо прохрипел:

— Пятьдесят восьмая, десятка и пять по рогам! Другой поддержал:

— Точно, фрайер! Густо сопля на этап пошла.

Я понимал, что я — в самом деле фрайер, то есть честный, работящий, полезный обществу человек — гусь, назначенный к тому, чтоб его облапошивали умелые и наглые люди. Но легче от понимания мне не стало. Исчерпывающая оценка уголовника придавила меня как приговор. Я пригнул голову и протиснулся в гущину людей. Мне нехотя очистили узкую полоску, одну доску нары. Я сунул под голову мешок, вытянулся на боку и унесся в мир фантазий. Две недели назад, еще до суда, я стал переделывать вселенную по новому, более совершенному плану, чем ее наспех создавал самоучка-господь. Это был кропотливый труд, приходилось от всего другого отвлекаться, чтоб дело шло. И самое главное — надо было не думать о неправедном суде, о жестоком приговоре, о загубленной жизни, даже о том, как разберутся Дебрев с философствующим стариком...

Двери камеры отворялись, к нам впихивали все новых людей, по телам, простертым по сплошным нарам, пробегала судорога — новеньким очищалось жизненное пространство под тусклой тюремной лампочкой. Было жарко и душно, грязные тела заливал пот. Кто-то громко чесался, кто-то с визгом зевал, кто-то шепотом матерился, кто-то со змеиным шипом отравлял воздух — все было, как и должно быть в этапной камере.

Потом два арестанта из тюремной обслуги внесли дымящееся ведро пшенной баланды — густого, невкусного, желанного супа. Никто около меня не шевельнулся на нарах. Четыре блатных лениво подошли к ведру, понюхали струящиеся из него пары, поболтали в ведре черпаком.

— Локш!-изрек один.

— Баланда, как баланда! — подтвердил другой.

— Оставим на после? — предложил третий.

— Порубаем! — решил четвертый.

Они не торопясь вылавливали в пшенной болтушке следы картошки, мясные прожилки и что-то еще, чего я не разобрал. И когда они удалились к себе с полными мисками, мне показалось, что жидкий мясной запах, исходивший от ведра, стал еще жиже и приглушенней.

— Лопай, пятьдесят восьмая! — великодушно разрешил один из уголовников.

Очевидно, только этого разрешения и ожидали — камера с грохотом поднялась на ноги. К ведру пробивались, ведро захватывали друг у друга. Костлявый, страшноватый человек, выкатывая полубезумные глаза, надрывно орал:

— Товарищи! Что же получается? Давайте же порядок установим.

Он так увлекся криком, что, как и я, не добыл себе супа. Грустный, я стоял перед опустевшим ведром и смотрел на висевший сбоку черпак. Суп, вероятно, был вкусен. Я поплелся на свою доску и пожаловал¬ся соседу — пожилому, усталому человеку, так и не поднявшемуся с нар:

— Почему столько беспорядка? В других камерах имеются старосты, люди получают еду по очереди.

Он равнодушно ответил:

— И у нас староста — вон тот высокий. Только что он может? Распоряжаются блатные, его никто не слушает.

Я посмотрел на уголовников. Четыре человека — почтительная пустота отделяла их от нас — отставили чуть тронутые миски и уплетали свежий хлеб, мясо и масло. На всю камеру шелестела жестяным шумом сдираемая с колбас кожура, глухо всхлипывали всасываемые одним вдохом яйца, сухо трещало печенье. Потом они завалились на спину — махорочный дух заволок их, как маскировочная завеса. С тяжелым сердцем я отвел от них глаза. Это была мучительная загадка, я не мог ее решить. Их было вдесятеро меньше, чем нас, мы могли, навалившись, мгновенно растереть их в пятно — как же они захватили над нами власть? Неужели тот старик прав и все мы стали реально ничтожествами, чуть нас заклеймили лживыми названиями? Неужели клеймо, несколько словечек — так всевластны?

Я высказал соседу свои сомнения. Он испугался:

— Что ты! Что ты! Даже не думай об этом. Знаешь, что нам грозит, если мы возьмемся за них? Тюремное начальство не помилует.

Я возразил с тяжелым недоумением:

— Нас ни за что покарали самым тяжким наказанием, какое знает кодекс. Чем еще могут нам пригрозить?

Он горячо зашептал:

— Не говори так, не говори! Нас осудили неправильно, и мы должны так держаться, чтоб нам поверили. А кто поверит, что мы невинны, если мы что-то в тюрьме организуем?

Я не стал спорить. Мысли мои путались. Мир двигался мимо меня на голове, и я терзался, стараясь уловить в его движении хоть какой-нибудь смысл. Я был горячий сторонник нашей власти, а моя власть кричала мне в лицо: «Гад!» Бездействие перед подлостью и лицемерием возводилось в достоинство. Этого достоинства — молчать, терпеть, трястись, примиряться с любой мерзостью — почему-то требовали от нас, чтоб признать нас снова хорошими. Я не понимал; кому это надо? Зачем это надо?

Я расстелил на доске полотенце и выставил на него полученные перед этапом дары с воли — ветчину, сыр, сладкие сухари. Я знал, что это — последняя вкусная еда в моей жизни, десять лет тюремного заключения не поездка в дом отдыха. Отныне будут заботиться не о процветании моем, а, может, только о том, чтоб я не зажился на свете.

— Ешьте, — сказал я соседу. Мы запивали еду холодным кипятком. И вдруг кусок стал у меня комом — что-то зловещее надвинулось из-за спины. Я испуганно обернулся. Все тот же осипший уголовник, раз уже обративший на меня внимание, стоял у наших нар, широко расставив ноги и засунув руки в прорези брюк, где нормально полагалось быть карманам.

— Жуешь?-осведомился он мрачно. — Жую, — признался я, оробев от неожиданности.

— Не вижу заботы о живом человеке, — заметил он внушительно. — Порядок знаешь? Долю надо выделить. Другие учитывают — видал, сколько навалили нам на ужин?

— Я не возражаю, садитесь, пожалуйста, — сказал я поспешно.

— А я сыт, — ответил он равнодушно. — Значит, так — тащи свою съестную лавку к нам, там разберемся. И барахлишко прихвати — посмотрим, чего тебе оставить.

Я понимал, что надо поступить именно так, как он приказывал. Этого требовали, по разъяснению того старика, — моя безопасность, достоинство покорности, воспитываемое во мне палкой. Но меня охватило отвращение к себе, к камере, ко всему свету. Я только начинал жить и уже ненавидел жизнь. Если бы вчера попалось не полотенце, а настоящая веревка, с каким облегчением я бы покончил все счеты с жизнью! Нет, почему я с таким ужасом думал о грозящем мне ноже? Сейчас я жаждал его.

— Не дам! — сказал я злобно.

— Не дашь? — изумился он. — Ты в своем уме, фрайерок?

— Не дам! — повторил я, задыхаясь от ненависти. Он овладел собой. Колено его вызывающе подрагивало, но голос был спокоен.

— Лады. Даю десять минут. Все притащишь без остатка. Просрочишь — после отбоя придем беседовать.

И, отходя, он бросил с грозной усмешкой:

— Шанец у тебя есть — просись в другую камеру. Сосед смотрел на меня со страхом и жалостью.

Он положил руку на мое плечо, взволнованно шепнул:

— Сейчас же неси, парень. Эти шуток не понимают.

— Ладно, — сказал я. — Никуда не пойду! Ешьте, пожалуйста.

Он с трепетом отодвинулся.

— Боже сохрани! Еще ко мне придерутся. Говорю тебе, тащи им все скорее, Жизнь стоит куска сыра.

Я молча заворачивал еду в полотенце. Новая моя жизнь не стоила куска сыра, это я знал твердо. Я готов был с радостью отдать этот проклятый кусок каждому, кто попросил бы поесть и намеревался кровью своей защищать его — в нем, как в фокусе, собралось вдруг все, что я еще уважал в себе. Теперь и между мною и остальными жителями камеры образовалось крохотное, полное молчаливого осуждения и страха пространство.

Когда прошли дарованные мне десять минут, сосед зашептал, страдая за меня:

— Слушай, постучи в дверь и вызови корпусного. Объяснишь положение... Может, переведут в другую камеру.

— Не переведут. Что им до наших нелад? Не хочу унижаться понапрасну.

— Не храбрись! — шепнул он. — Ой не храбрись! Нет, я не храбрился. Трусость снова одолевала меня, подступала тошнотой к горлу. Борьба одного против четырех была неравна. Она могла иметь только один конец. Но зато я знал окончательно — еду и вещи я не понесу. Это было сильнее страха, сильнее всех разумных рассуждений. Со смутным удивлением я всматривался в себя — я был иной, чем думал о себе.

До отбоя было еще далеко, и нервы мои стихали, как море, которое перестал трепать ветер. У меня появился план спасения. Когда они подойдут, я взбудоражу всю тюрьму. Меня выручит корпусная охрана. Только не молчать, молчаливого они прикончат в минуту — после всех обысков вряд ли у них остались ножи, видимо, они кинутся меня душить. Я вскочу на нары, спиной к стене, буду отбиваться ногами, буду вопить, вопить, вопить!..

Вся камера понимала, что готовится наказание глупца, осмелившегося прошибать лбом стену. Угрюмое молчание повисло над нарами как полог. Люди задыхались в молчании, но не нарушали его — изредка шепотом сказанное слово лишь подчеркивало физически плотную тишину. Тишина наступала на меня, осуждала, приговаривала к гибели — я слышал в ней то самое, что говорил старик, — никто не придет на помощь. Люди будут лежать, закрыв глаза, мерно дыша, ни один не вскочит, не протянет мне руки. И я восстал против этой ненавистной тишины, которая билась мне в виски учащенными ударами крови.

Я попросил соседа:

— Расскажите что-нибудь интересное, что-то сон нейдет. Он ответил неохотно и боязливо:

— Что я знаю? В наших камерах книг не давали. Лучше сам расскажи, что помнишь. Какую-нибудь повесть... Я стал рассказывать, понемногу увлекаясь рассказом. Не знаю, почему мне вспомнилась эта удивительная история, странная повесть о Повелителе блох и парне, чем-то похожем на меня самого. Меня окружили видения — очаровательная принцесса, бестолковый крылатый гений, толстый принц пиявок, блохи, тени, тайные советники. Я видел жестокую дуэль призраков Сваммердама и Левенгука — они ловили один другого в подзорные трубы, прыгали, обожженные беспощадными взглядами, накаленными волшебными стеклами, вскрикивали, снова хватались за убийственные трубы. Я сидел лицом к соседу, но не видел его — крохотный Повелитель блох шептал мне о своих несчастьях, я до слез жалел его. И, погруженный в иной, великолепный мир, я не понял ужаса, вдруг выросшего на лице соседа. Потом я обернулся. Четверо уголовников молча стояли у моих нар.

— Давай кончай это дело! — внятно сказал сиплый, что уже говорил со мной.

— Дело иде к концу. Смелая блоха, Повелитель блох всего мира, бросился на поиски похищенной принцессы, — ответил я, вызывающе не поняв, о каком конце он говорит, и вонзая в него взгляд, который и без хитрых луп мог бы его испепелить. — Это было нелегкое дело — за бедным королем блох самим охотились со всех сторон, как за редкостной добычей...

И не торопясь я закончил повесть. Я довел ее до апофеоза. Прекрасная принцесса из Фамагусты соединилась с нищим студентом, внезапно превратившимся в пылающее сердце мира. Четверо уголовников, не спуская с меня глаз, слушали описание фантастической свадьбы. Горечь охватила меня, звенела в моем голосе. Теперь я знал, чем сказка отличается от жизни. Сказка завершается счастливым концом, в жизни нет счастья. Отупевший, на мгновение потерявший волю к сопротивлению, я ждал...

— Здорово! — сказал один из блатных. — Туго роман тискаешь!

— Давай еще! — потребовал другой.

И тогда меня охватило вдохновение. Теперь я рассказывал о собаке Баскервилей. Мой голос один распространялся по камере, наступал на людей, требовал уважения и молчания. Ничто не шевелилось, не шептало, не поднималось. Четыре уродливых диких лица распахивали на меня горящие глаза, десятки невидимых в полумраке ушей ловили слова. У сиплого отвисла нижняя губа, слюна текла на подбородок, он ничего не замечал, он бродил по туманной пустоши, спасался от чудовищной, светящейся во тьме собаки, падал под ее зубами. Он был покорен и опьянен.

И тогда я понял с ликованием, что здесь, на этапе, в вонючей камере, совсем по-иному осуществилось то, о чем недавно философствовал старик. Можно, можно властвовать словами над душами людей — радовать, а не клеймить, возвышать, а не губить. И это пустяки что не я придумал ночную пустошь, затянутую туманом, что не мое воображение породило ужасную собаку. Десять лет тюремного заключения еще не граница жизни. Он придет, этот час, — страстное, негодующее, влюбленное слово поднимется надо всем. Нет, не четыре тупых уголовника — весь мир, опутанный, как сетями, магией слов, ставших плотью и действием, будет вслушиваться, будет страдать от их силы, возмущаться и ликовать...

Со звоном распахнулось дверное окошко. Грозная рожа коридорного вертухая просунулась в отверстие.

— А ну кончай базар! — крикнула рожа. Уголовники заторопились на свои места.

— Завтра даванешь дальше! — прошептал сиплый. — Как у тебя насчет жратвы? Все достанем! С нами не пропадешь, понял!

— А у меня все есть, — ответил я с горькой гордостью. — Что мне еще надо в жизни?